

Выход в свет в 2007 г. второго издания (расширенного и дополненного) «Атласа субстратной и заимствованной лексики русских говоров Северо-Запада» С.А. Мызникова – заметное событие в исследовании севернорусских говоров. Это уникальное издание, не имеющее аналогов в практике диалектологии, которая нацелена, как правило, на анализ исконных языковых явлений и в которой методы ареальной верификации не всегда являются определяющими. Событие вдвойне значимое, поскольку атлас по определению является синтезом знаний в данной области, обобщающим результаты исследований и одновременно выводящим их на новый уровень. В атласе развиваются в ареальном плане те наработки, которые сделаны в течение полутора сотен лет в исследовании языковых контактов русского языка с финно-угорскими (прежде всего, прибалтийско-финскими) и балтийскими. В этой связи стоит отметить значительный вклад самого составителя атласа в исследование данной проблемы, в частности, два его предшествующих труда по лексике финно-угорского происхождения в севернорусских говорах [Мызников 2003; 2004]. Будучи нацеленным на ареальное исследование севернорусских говоров, изданный труд одновременно значим и для финно-угорского языкознания и – шире – этноязыковой истории Севера. Во вступительных разделах автор специально обращает внимание на субстратный характер основного массива картографируемого им материала. Языковой субстрат, возникший через этап двуязычия, отражает былую этноязыковую ситуацию в северо-западных областях России, населенных до активного русского освоения, сопровождавшегося языковой ассимиляцией, финно-угорскими этносами. При этом автор прав, отмечая, что именно лексика в силу массового характера материала (я бы добавила: в силу четкости, ареальной привязки, этимологической прозрачности) является более репрезентативным источником, чем фонетические и морфолого-синтаксические данные, к которым обычно принято обращаться при исследовании следов субстрата. Примечательно, что та же мысль о приоритетной роли лексики для реконструкции субстрата звучит со страниц другой работы [Saarikivi 2006], посвященной финно-угорскому субстрату в севернорусских диалектах и оспаривающей получившую широкую известность в Европе контактную теорию, делающую ставку на фонетический и грамматический уровни языка.

В атласе ставятся и решаются две взаимосвязанные задачи: ареальное распределение субстратных единиц и их этимологическая интерпретация, которая в значительной степени опирается на ареальную характеристику. При этом понятно, что за этим стоит большая предварительная работа по выявлению свода картографируемых диалектных терминов. Здесь в полной мере проявился профессионализм А.С. Мызникова – диалектолога с большим стажем полевых экспедиций, с большим опытом работы над СРНГ и ЛАРНГ, автора целого ряда фундаментальных теоретических исследований в области финно-угорского субстрата в севернорусских говорах.

Представленный в атласе континуум лексем не охватывает, конечно же, всего массива субстратных и заимствованных слов, тем более, что далеко не все из них (например, не имеющие ареала адстратные проникновения) пригодны для картографирования. Однако список выбранных для картографирования слов, входящих в разные семантические группы (из наиболее значимых, пожалуй, лишь ландшафтные термины оказались не представленными в атласе), отличающихся своим ареалом, восходящих к разным языковым типам, безусловно, репрезентирует реальную ситуацию языкового контактирования на российском Северо-Западе. Атлас основан на материале 15-летних полевых экспедиций, в ходе которых не только по специальной программе-вопроснику проверялся материал и его ареал, но и удалось зафиксировать целый ряд ранее не попадавших в поле зрения диалектологов субстратных лексем.

Следует признать удачным выбор территории и обоснованными ее границы. Убедительна и сетка обследования и ее изменения в зависимости от конкретных условий. Другое дело, что сама идеология подачи материала в атласе, в соответствие с которой знаки привязаны к районным центрам, при безусловных положительных моментах (к которым можно отнести четкость, структурированность) имеет и свои недостатки. Так, материалы, представляющие Заонежский полуостров, оказываются привязанными к Медвежьегорску, который расположен за пределами полуострова, что несколько искажает очертания ареала бытования лексемы, а также существовавшие ареальные связи. Это обстоятельство тем более обращает на себя внимание, что нередко значок, репрезентирующий ситуацию в Заонежье, оказывается вынесенным на южный берег Сегозера, являющегося уже не русской,

а карельской в языковом отношении территорией. В свою очередь, вся обширная территория Пудожья оказывается практически пустой, поскольку весь материал сконцентрирован на карте у г. Пудожя, в результате визуально не просматривается та лингвистическая непрерывность, те ареальные связи, которые исторически существовали между Пудожьем и Каргополом. Последние предстают как два отдельных независимых микроареала. Видимо, такого рода издержки неизбежны в случае, когда исследователь оперирует обширной территорией.

В атлас включено 66 карт, из которых подавляющее большинство является ономаσιологическими. Каждая карта сопровождается развернутым комментарием, а также индексом материалов с полным регистром лексических манифестаций, что, безусловно, повышает надежность и качество интерпретации. Как любой труд этимологического характера, рецензируемая работа не может решить однозначно все возникающие коллизии, однако в силу мощной лингвогеографической поддержки этимологический потенциал работы высок. Следует особо обратить внимание на то, что тот материал, с которым работает Мызников, очень непросто для интерпретации. Истоки севернорусских субстратных лексем находятся как в живых (напр., карельский, вепсский, саамский, коми), так и уже вышедших из употребления финно-угорских и балтийских языках и диалектах. Более того, живые языки отражены чаще всего не в современном облике, но историческом, поэтому сопоставление с современными данными бывает проблематично. А если к этому добавить сложности фонетической адаптации иноязычных лексем в русские говоры, а также разнообразные моменты народноэтимологической интерпретации, возникающие в ситуации языкового контактирования, становится понятна сложность задачи, решаемой в атласе. О том, насколько неординарные ситуации возникают в ходе научного поиска и сколько подводных камней приходится преодолевать, свидетельствуют многие материалы атласа. Примером может служить анализ севернорусского *гоноболь* 'голубика'. В комментариях к карте автором высказывается очень перспективная мысль о возможности реконструкции в его истоках прибалтийско-финского сложного по структуре слова, первый элемент которого соотносится с вепсским *g'önik* 'голубика', а второй соответственно с вепсским *bol* 'ягода'. Между тем, вепсская реконструкция, предложенная в атласе, кажется мне слишком прямолинейной. Прежде всего,стораживает ареал, который выходит далеко на запад за

пределы вепсского контактного ареала, к тому же понятно, что *g* в восточновепсском *g'önik*, зафиксированном в Словаре вепсского языка, вторичен и возник здесь на месте первоначального *j*, представленного в более западных говорах (*jonik*). Проблема усугубляется еще и тем, что не вполне понятны истоки и механизм фонетического варьирования слова-этимона в прибалтийско-финских языках (см, например [SSA 1992–2000; ALFU]). Исследователи склонны исходить из праязыкового **jōbukka* (производное от глагольной основы с семантикой 'пьянеть'), породившего фин. *juolukka*, карел. *juomukka*, эстон. *joovikas*, вепс. *jonik*, однако согласный, репрезентирующий в них праязыковой звонкий спирант, не всегда закономерен, что заставляет предполагать вмешательство народной этимологии, сблизившей слово с другими производящими основами. Как встраивается в этот ряд *гоноболь*? Не есть ли это след реликтового слова, известного некогда в восточном прибалтийско-финском прадиалекте, который бытовал на территории между Ладожским и Чудским озерами (видимо, именно по отношению к такой лексике в атласе используется характеристика остаточный прибалтийско-финский языковой ландшафт)? Во всяком случае ареальная характеристика севернорусского названия ягоды наводит на эту мысль. К тому же, восточный прадиалект продолжается в восточных прибалтийско-финских языках, прежде всего в вепсском, чем, возможно, объясняется близость к современному вепсскому слову.

Такого рода неоднозначные для решения ситуации нередки, и во многих случаях автор находит интересные и убедительные этимологические решения, базирующиеся в том числе и на ареальном критерии. Среди них вепсская этимология для *паклы*, возможность саамских истоков для *копналь*, марийское или родственное ему происхождение для *кужи*, новая убедительная этимология для *ромжи*, веские доказательства в пользу финно-угорской этимологии для прибалтийско-финского *harjus*, корректировка этимологии Фасмера для *ванды* и многие другие. Доскональное знание материала позволяет увидеть опечатки и неточности в ранее опубликованном материале (*кали* вместо правильного *калига* в СРНГ), отметить неверность трактовки семантики в источниках (*юма*, *веранда*). Автора отличает умение использовать экстралингвистические факты и знание народной жизни и особенностей севернорусской культуры, проявившееся, к примеру, в убедительном семантическом обосновании саамской этимологии для *марьюхи*, в уточнении семантики слова

кагач, в выдвигании дополнительных аргументов, основанных на знании самой реалии, при этимологии *курмы*, и во множестве других случаев. Характерно также, что в списке литературы можно найти не одну работу по этнографии севера.

Автору приходится ставить и решать важные для этимологии проблемы фонетической адаптации иноязычной лексики, с которыми он достойно справляется, демонстрируя при этом профессиональное знание и использование данных прибалтийско-финской/финно-угорской исторической фонетики. В работе выявляются, к примеру, характерные случаи расподобления геминат (*паткула*), передачи несвойственных русскому языку прибалтийско-финских умляютных гласных и специфического *h* и др. Конечно, в связи со сложностью самого объекта исследования остаются некоторые вопросы к автору. Вряд ли следует относить к результату саамского воздействия звонкое *b* в *бармак*. Скорее, речь должна идти об озвончении, спровоцированном в русском употреблении сонорными середины слова (ср. однотипный процесс в отмеченном в работе на с. 59 *баклина* из *паклина* или в топонимии Заонежья урочище *Балтега* из **Палтега*, пожня при ключах *Бурта*, а также мыс *Бурднаволок*, в которых закрепилось вепс. *purde* 'ключ, родник'). Видимо, в контексте межъязыкового контактирования может рассматриваться и взаимозаменяемость *z ~ d* (*роуда ~ роуга*, *рядна ~ рьянга*), которая воплотилась и в ряде прибалтийско-финских субстратных топонимов на территории русского Заонежья и Присвирья: в Присвирье *Янгозеро ~ Яндозеро*, *Гангозеро ~ Гандозеро*, в Заонежье острова *Гавгай ~ Гавдай*, *Линдостров ~ Лингостров*, *Пелдостров ~ Пелгостров*, *Мандерское поле ~ Мангерское поле* и некоторые другие. Во всяком случае зафиксированное у белозерских вепсов *rouig ~ ruiig* (< *rouid*) 'мерзлая почва' не укладывается в ряд собственно вепсских фонетических изменений [Tunkelo 1946] и могло быть спровоцировано смежными русскими говорами. Исходя из семантики и фонетического облика, нет необходимости разводить *тюдега* и *тютежи* к разным источникам. Оба восходят к девербальному производному от глагольной основы *kyte(ä)* 'тлеть, медленно гореть', которое в людиковском должно было иметь облик **kydeg* (реальность предложенной формы подтверждают топонимические фиксации с людиковской и смежной русской территории: ср. *Küdög* в Гомсельге, *Küdežma* в Кончезере, *Кюдега* в Мартнаволоке, Янишполе и Лехнаволоке, *Кюдега* или *Тюдега* в Сулажгоре и Гангозере, *Кюдеги*, *Тюдеги* или *Чудеги* в Но-

винке). Примеры явно свидетельствуют о том, что *Тюдега* является закономерным фонетическим вариантом *Кюдеги*. Представленная в атласе (с. 219) *тюдега* зафиксирована в Кулмуксе, т. е. в одном ареале с отмеченными выше топонимическими примерами.

Поскольку работа над атласом будет продолжена, позволю себе высказать несколько конкретных предложений, которые автор при желании может иметь в виду в дальнейшей работе:

1. Лексема *липа* с деривационными вариантами в значении 'косяк двери, окна' сопоставима, возможно, с прибалтийско-финскими данными, ср. карел. *lieve* 'подол одежды; бок, край', люд. *liebe* 'подол; край', вепс. *lebe* 'вышивка по подолу рубахи', *lepked* (мн. ч.) 'подол; край', фин. *lieve* 'подол; край, бок' (SSA), в основе которых реконструируется исходная чередующаяся основа **lēpeh : *lēβeh*, имеющая балтийские истоки. Ср. также фин. *liepeellä* 'на краю, сбоку'. Западный ареал указывает, кажется, на былое бытование слова в прибалтийско-финском субстратном языке Новгородской округи, откуда уже в качестве факта русской речи оно могло распространиться шире с новгородским освоением территории Северо-Запада.

2. В ряде случаев дополнительную информацию ареального характера несет топонимия, которая консервирует утраченные говорами лексические факты. Так, представленное на карте 20 в ареальном плане как сугубо новгородское слово *острец* 'небольшой окунь' в действительности, видимо, бытовало и в говорах Присвирья, Обонежья и Беломорья, поскольку на этих территориях оно выступает в качестве продуктивной топоосновы для называния водных объектов [Муллонен, Кузьмин 2007], в том числе и в переводах оригинальных прибалтийско-финских топонимов: вепс. *Ahnuzd'ogi*, букв. 'Окунская река', в русском употреблении известна как река *Остречина*.

3. Термин рыболовства *марда* 'рыболовная снасть из ивовых прутьев' с необычным на фоне *мерда* вокализмом хорошо вписывается в ряд севернорусских терминов и топооснов, в которых традиционное прибалтийско-финское *e* субституируется как *a* (*вахта* < *vehka*, *пахта* < *pehku*, топоосновы *Хайн-* < *heinä*, *Падр-* < *pedra* и др.), при этом исследователи склонны связывать это явление с особым прибалтийско-финским (а не саамским, как предлагается в Атласе) диалектом, существовавшим на Русском Севере, в котором *e* имел более открытый характер (например [Матвеев 1995: 32–33]). В Кенозерье и Белозерье, где

фиксируется *марда*, эта фонетическая особенность как раз известна.

4. Вряд ли следует видеть в *шаряк* и *шарага* 'жердь с сучьями для сушки сена, снопов' ранний карельский вокализм. На самом деле передача ливвиковско-людиковского дифтонга как одиночного гласного является закономерной в топонимии Обонежья, в том числе на территории позднего обрусения: в топонимии села Суйсарь урочище *Габуки* < **Huabikko*, залив *Лодалахта* < **Luodolahte*, *Вех/кара*, *Педра/кара*, в которых вторым элементом выступает люд. *kuare* 'небольшой залив, бухта', гора *Гаука/вара* < **Haukkavuara* с основным элементом *-vuare* 'гора'. Кстати, в окрестностях села Согиницы, где зафиксирован термин *шаряк*, еще во время Второй мировой войны записаны образцы карельско-людиковской речи с четкой дифтонгизацией на месте исторического долгого гласного.

5. Представляется, что заонежский ойконим *Палтега*, связываемый в атласе с гнездом *пал* 'вырубленное и выжженное под пашню место в лесу, подсека', все же скорее репрезентирует упомянутый вскользь в комментариях прибалтийско-финский географический термин *palte* < **paltteh* 'склон, косогор'. На это указывает ландшафтная характеристика: деревня Палтега расположена на покатом берегу озера Шидрозера. Сходная характеристика присуща и другим объектам Заонежья с данным названием: упоминаемое выше урочище *Балтега* в Вырозере, *Пальтега* в Сенной Губе, а также целому ряду объектов в Прионежье и Посвирье. Добавлю, что и фонетически предлагаемая этимология выглядит обоснованно. Возможно, следует проверить, не оказался ли включенным в число апеллятивов топоним *Палтега*, часто выступающий в названиях сельскохозяйственных угодий.

Высказанные выше частные замечания не носят принципиального характера, а лишь развивают и дополняют высказанные в атласе идеи.

Среди положений, имсущих теоретическое значение для диалектологии, особо отмечу идею о принципиальной важности неисконных лексических данных для корректного диалектного членения русского языка. В заключительном разделе атласа на основе проведенного ареального анализа убедительно доказываемся, что влияние иноязычных лексических систем, особенно с учетом того, что субстратная лексика не выходит за пределы ареала проникновения, безусловно, важно в связи с установлением границ ареалов, а значит и диалектным членением. Такой подход во многом нов и перспективен для русской диалектологии. Однако он вполне естественен в контексте устойчивости границ истори-

ко-культурных зон (см., например [Герд, Лебедев 1999]).

В заключении подчеркну еще раз результат, который специально не обсуждается в атласе, но который, тем не менее, имеет далеко идущие последствия. Выявляющаяся ареальная дистрибуция и конфигурация ареалов неисконной для севернорусских говоров лексики открывают исключительно интересные перспективы для финно-угорского исторического языкознания. Они реконструируют существенные элементы этнической карты северо-западной России в прошлом. Убедительно вырисовывается широкий (иногда, пожалуй, даже неожиданно широкий в западном направлении) вепсский ареал, охватывающий Обонежье на севере и Белозерье на юге, а на западе достигающий бассейна Волхова. Отчетливо просматриваются результаты вторичного прибалтийско-финского проникновения далеко на восток в Подвинье и Верхневолжье. Но наиболее интересно языковое наследие древнего финно-угорского населения на территориях, не одно столетие являющихся в языковом отношении русскими. Материалы атласа оказываются чрезвычайно актуальными в рамках выдвинутой А.К. Матвеевым теории севернофинских языков (например [Матвеев 2001]), а также обсуждаемой в последнее время гипотезы северо-западной группы финно-угорских языков, развивающей представления о т. н. *kantasuomi* – общем праязыке для прибалтийско-финских, саамских, а также исчезнувших языках Белозерья (лопь), Подвинья (тойма), Верхневолжья (тверская группа) [Хелимский 2006]. Кстати, чрезвычайно полезно было бы разместить в атласе в качестве приложения карту расселения финно-угорских народов в северной России. Она служила бы необходимым наглядным фоном для отражения субстрата в русских говорах. Понятно, что еще полезнее была бы карта, реконструирующая этническую ситуацию на первые века II тыс. н. э., на которой отмечаются, в частности, вымершие финно-угорские этносы Верхневолжья и Подвинья.

Рецензируемая работа С. А. Мызникова является, безусловно, этапной для исследования финно-угорско-русских лексических контактов. Заложенные около ста лет назад Яло Калимой основы получили достойное развитие на новом материале и с использованием новых методик исследования, прежде всего, ареальных.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Герд, Лебедев 1999 – Основания регионалистики. Формирование и эволюция истори-

- ко-культурных зон / Под ред. А.С. Герда, Г.С. Лебедева. СПб., 1999.
- Матвеев 1995 – А.К. *Матвеев*. Апеллятивные заимствования и стратиграфия субстратных топонимов // ВЯ. 1995. № 2.
- Матвеев 2001 – А.К. *Матвеев*. Субстратная топонимия Русского Севера 1. Екатеринбург, 2001.
- Муллонен, Кузьмин 2006 – И.И. *Муллонен*, Д.В. *Кузьмин*. Экспедиция на Осудареву дорогу // Вопросы ономастики. 2007. № 4.
- Мызников 2003 – С.А. *Мызников*. Русские говоры Обонежья. Ареально-этимологическое исследование лексики прибалтийско-финского происхождения. СПб., 2003.
- Мызников 2004 – С.А. *Мызников*. Лексика финно-угорского происхождения в русских говорах Северо-Запада. Этимологический и лингвогеографический анализ. СПб., 2004.
- Хелимский 2006 – Е.А. *Хелимский*. Северо-западная группа финно-угорских языков и ее субстратное наследие // Вопросы ономастики. 2006. № 3.
- ALFU – Atlas linguarum fenno-ugricarum.....
- Saarikivi 2006 – J. *Saarikivi*. Substrata Uralica. Studies on Finni-Ugrian substrate in northern Russian dialects. Tartu, 2006.
- SSA 1992–2000 – Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja. 1–3. Helsinki, 1992–2000.
- Tunkelo 1946 – Е.А. *Tunkelo*. Vepsän kielen äännehistoria. Helsinki, 1946.

И.И. Муллонен